

**ДМИТРИЙ
БЫКОВ**

**ВРЕМЯ
ИЗОЛЯЦИИ**

1951–2000 гг.



МОСКВА
2018

Нам предстоит говорить о самом странном эпизоде литературной «оттепели». Самом странном потому, что, с одной стороны, появление такого текста, как рассказ Яшина «Рычаги», невозможно было ни предсказать, ни каким-то образом объяснить. Это рассказ, который перебрасывает мост уже даже не в шестидесятые годы, не в зрелую «оттепель», а в восьмидесятые, в роман Сорокина «Норма». Это по большому счёту первый по-настоящему открытый текст. И не о сельском хозяйстве — сельское хозяйство там играет десятую роль, а о главной проблеме советского человека — о его неискоренимом и губительном двуличии. Это первый текст, первая ласточка литературной «оттепели». Второе, что уже по-настоящему парадоксально, — этот текст сломал Яшину жизнь. В принципе, раз уж он появился, раз уж достаточно высокое литературное начальство санкционировало выход альманаха «Литературная Москва», наверно, как-то отвечать за этот литературный шок должны были все вместе, во главе с Эммануилом Казакевичем, составителем этого сборника. Но получилось так, что тогда главный удар пришёлся не по нему. Может быть, Казакевича пожалели, потому что он свою проработочную кампанию пережил в 1947 году, когда в постановлении «О „Звезде“ и „Ленинграде“» ему так страшно прилетело за повесть «Двое в степи». А вот Яшин оказался главной мишенью проработочной кампании 1955–1956 годов.

Самое удивительное, что Яшин к этому времени — лауреат Сталинской премии, автор абсолютно просоветской и сделанной по всем канонам поэмы «Алёна Фомина», которая была, наверно, одним из самых фальшивых произведений послевоенного советского эпоса, и вообще он человек со всех сторон правильный: вологодский крестьянин, от которого ну никак не ожидали такого внезапного прорыва. Казалось бы, наш, свойский, войну прошёл, ИФЛИ окончил, никогда не был ничем скомпрометирован. И тут на тебе, такая чудовищная история. На самом деле, конечно, о Яшине следует здесь говорить подробно, потому что это человек, проживший всего-то 55 лет, с 1913-го по 1968-й, это один из самых удивительных и показательных случаев в советской истории. **Есть такой советский парадокс: иногда советский человек, действительно правоверный, абсолютно глубоко верящий во все клише отечественной пропаганды, вдруг прозревает. Это происходит вследствие какого-то общественного шока, как это вышло, например, с Афиногеновым, который вообще был самым талантливым из РАППовских драматургов и о многом догадывался. Когда начали громить РАПП и он увидел это чудовищное двуличие и неблагодарность правительства, которое само же этот РАПП вырастило, вынянчило, с ним что-то произошло. К тому же он в это время — в 1937 году — много общался с Пастернаком, это способствовало его раскрепощению. Такое же прозрение произошло, например, с Борисом Корниловым, который всегда был сильным поэтом и умным человеком, но во второй половине тридцатых увидел, насколько всё завернуло не туда с Ольгой Берггольц, его первой женой.**

Самое страшное — когда прозревают искренне верящие, потому что их не остановит уже ничто. Это люди, идущие до конца. Интеллигент в силу какого-то врождённого... не скажу конформизма, что уж я буду хамить интеллигенции, но в силу своей большей гибкости способен гнуться, а не ломаться. А вот такой человек, который прозрел и резко ломает свою судьбу, обречён. Гибнет совершенно случайно Афиногенов, расстреливают Корнилова, пускают под откос жизнь Яшина, который

умер от рака так рано. Рак этот развился у него на почве глубокой депрессии, вызванной, кстати, разными обстоятельствами, не только партийно-проработочного плана: и самоубийством сына из-за несчастной любви — в 1963 году у него застрелился шестнадцатилетний сын от второго брака; связано это, конечно, и с его трагической любовью, о которой мы сейчас будем много говорить. Но, несомненно, изгойство Яшина внесло свой вклад в его роковую болезнь. Он старался закрыться, затвориться от всех, под Вологодой строил себе дом, там жил один, много молился, много писал. Надо сказать, что его последние дневники — невыносимое, мучительное чтение. **И перед смертью он, по воспоминаниям дочери, говорил всё время, что идёт к Богу, идёт на соединение с Богом.** Что произошло? Дело в том, — это действительно очень важный парадокс, — что человек, который искренне верил и искренне разуверился, платит за это жизнью. Коммунист Яшин, верный член партии, лауреат Сталинской премии за своё прозрение заплатил жизнью.

Сейчас он больше всего известен в литературе как поэт. Как некоторые владеют одинаково легко левой и правой руками, он одинаково легко владел стихом и прозой. Издавались в основном его стихотворные сборники, в частности, регулярно переиздававшаяся книжка рассказов «Угощаю рябиной», которая и мне была известна. Издавались стихи — огромное количество сельских, пейзажных, идиллических стихотворений, очень хороших. Они запоминались, я до сих пор многие помню:

Пашни, поженьки, перелески,
 Как в кино скоростном, летят.
 В окнах мечутся занавески,
 Будто выброситься хотят.

Но, конечно, силён он был не этим, а своей прозой, из которой два рассказа — «Вологодская свадьба» и «Рычаги» — подверглись длительной травле: «Рычаги» в 1956-м (написан в 1955-м),

а «Свадьба» — в 1962-м. Так и не увидела свет при его жизни повесть «Поездка к сыну», напечатанная только в 1987 году в журнале «Москва», когда она уже мало кому была нужна. Дневники его последних лет, естественно, не рассчитанные на публикацию, стали сенсацией перестроечных времён.

Что же произошло с Яшиным? Он довольно долго искренне верил, но когда началась борьба за искренность в литературе, о которой мы говорили применительно к статье Померанцева, на втором писательском съезде, который прошёл через двадцать лет после первого, Яшин начал каяться. Он вышел на трибуну и заговорил о том, что он сам был неискренен в литературе, насаждал двойные стандарты, хотя всё понимал, думал, что всё это ради великой цели. И вдруг он перешёл к теме, которой от него никто не ждал: он попросил вернуть в литературу Есенина, разрешить Есенина. Вы знаете, что Есенин практически не перепечатывался, не издавался ни в тридцатые, ни в сороковые. Можно по-разному относиться к капитану Маринеско, но известно, что перед тем, как уйти в свой знаменитый поход, в котором он потопил «Густлоффа», он ограбил библиотеку, потому что не мог пойти в поход без сборника стихов Есенина, а купить его нигде было нельзя. Яшин сказал: «Мы должны вернуть большого, а может быть, великого русского поэта». А потом он написал «Рычаги».

В советской подцензурной литературе (и в российской тоже) всегда достаётся первопроходцу. И тут совершенно не важно, насколько этот первопроходец был радикален. Может, он робко что-то сказал, вполголоса. Дудинцев, например, написал роман «Не хлебом единым», в котором абсолютно ничего, по строгому счету, крамольного нет, кроме одной совершенно очевидной мысли — советская власть к человеку абсолютно равнодушна, её волнуют показатели, а не человек. Может быть, это беда не только советской власти, но и русской вертикали в целом. Этот абсолютно соцреалистический производственный роман подвергался такой травле, что Евтушенко вылетел из Литинститута за попытку защитить автора, поддержать его. А уж какие репрессии

“

Что касается самого Яшина, то это действительно человек, в котором удивительным образом боролись, с одной стороны, некоторая советская прямолинейность и кондовость, которая в рассказе чувствуется, с другой стороны, всё-таки какая-то необычность, нездешность.

”

развернулись вокруг журнала «Новый мир», где этот роман был напечатан! Какие обсуждения, какие дискуссии! Дудинцев в результате за следующие тридцать лет напечатал одну детскую повесть, а так ему стоял абсолютно полный заслон по всем путям. Галина Николаева со своим романом «Битва в пути», романом не то чтобы очень осторожным, очень половинчатым по некоторым догадкам, она тоже умудрилась разоблачить какую-то большую ноту этой системы, сказала, что ей аврал всегда милее систематической работы. За одну эту констатацию, что Вальгана всегда будут любить больше, чем Бахарева, Галина Николаева два года подвергалась самой натуральной травле. Пока в начале шестидесятых роман не был экранизирован Басовым, о нём предпочитали не вспоминать, а потом ещё двадцать лет предпочитали не переиздавать. Это всегда происходит с людьми, которые осторожно, половинчато, но первыми сказали то, чего было говорить нельзя. Дальше им ломают судьбу, как сломали её, собственно, и Померанцеву. Так вот, Яшин в своём рассказе ещё не знает пределов дозволенного, он ещё не понимает на самом деле, о чём можно говорить, а о чём нельзя. Поэтому у него в рассказе той сельской конкретики, которая есть, например, у Овечкина в «Районных буднях», ещё или уже нет.

Суть этого рассказа как раз не в экономической конкретике, не в отдельных недоработках и недочётах. Это по большому счёту первый рассказ в жанре советского абсурда. Когда мы читаем знаменитую пятую часть романа «Норма», знаменитый сорокинский пародийный чёрный гротескный рассказ «Падёж», мы узнаём там яшинские «Рычаги», просто чуть сдвинутые по фазе, доведённые до абсурда. На самом деле абсурд у Яшина такой, что Солженицын со своим, например, «Матрёниным двором», «не стоит село без праведника», на мой взгляд, всё-таки слабее, чем откровение в этом рассказе.

Как всегда, символом выступает радио. Как вы помните, лирический герой рассказа «Матрёнин двор» всё время ищет двор, где нет радио, потому что не может больше его слушать. У Матрёны

его нет. Вот один из главных героев рассказа «Рычаги» — радиоприёмник. Сидят в колхозной избе, в так называемом правлении этого колхоза, где страшно накурено, потому что курение — единственное развлечение, единственная радость у этих людей, — сидят в этом правлении пять человек и ждут шестого. Шестого им не хватает для кворума, потому что им надо провести партийное собрание, а учительница в школе задержалась. Среди них, как шестой, сидит радиоприёмник, который тоже, кажется, задыхается от дыма, поэтому говорит еле-еле. Это единственное радио в этой глухой вологодской деревне. Паренёк на Алтае по радио рассказывает о том, как хорошо у них всё в сельском хозяйстве: некуда хлеб ссыпать, столько хлеба! И слушают этот рассказ колхозники, переглядываются: вот, какие же действительно трудности-то у людей бывают. Нам бы такие трудности! Прекрасна яшинская фраза: *«Паренёк обращался к своей дорогой маме, но так, будто никогда раньше не произносил этого имени. Он явно робел перед микрофоном»*. Вот этот любимый приём, когда рапортуют дорогой маме, абсолютно неизменен в советской и постсоветской пропаганде. В «Рычагах» он впервые описан с удивительной точностью.

Для чего они собрались? — мы не знаем первую половину рассказа. Это самое интересное. Они сидят и разговаривают о том, что народ страшно запуган, что абсолютно нет возможности самим определять даже элементарные планы на лето. Даже на посевную они ничего не могут решать, им сказали: «Решайте снизу». Пришла свобода, колхоз теперь сам волен решать, что ему сеять. Но они уже третий план отправляют наверх, а его возвращают с поправками. Им надо посеять лён, потому что лён у них хорошо всходит. Требуют сразу же засеять тысячу гектаров. Они говорят: «Давайте мы попробуем на 120». Нет, сразу надо тысячу. А если не пойдёт, не получится? И потом один из них, казалось бы, самый робкий и зашуганный, говорит: *«И чего мы боимся, мужики? Ведь самих себя уже боимся!»* Вот за одну эту фразу, на самом деле, этот рассказ ещё в 1952 году стоил бы автору жизни, а в 1955-м — ничего. Дальше они начинают гадать, почему в других колхозах секретари

райкомов, например, сами приезжают в колхоз и разговаривают с мужиками по-человечески. А к ним секретарь райкома, как говорит тот же герой, *обязательно строгость соблюдает. Как оглядит всех сверху да буркнет: «Начнём, товарищи! Все в сборе?»* Ну, душа в пятки уходит, сидим, ждём выволочки... То, что партийная власть на этих простых и, в общем, запуганных людей так гипнотически, так страшно действует, — для них тоже абсолютный феномен. Они сами себя не понимают. «Что же это с нами такое?» — всё время спрашивают они.

Но тут приходит шестой человек. Приходит учительница, и только в этот момент Яшин делает гениальный композиционный ход — представляет нам участников разговора. И тогда оказывается, что самый зашуганный — это руководитель парторганизации, самый рассудительный, медленный и печальный — председатель колхоза, которому надо всё время перед всеми оправдываться, самый резкий, у которого под ногтями «не грязь, а земля» (это важно) — это местный агроном, которого все боятся и уважают. Боятся всех вообще, но к нему относятся по-свойски, потому что вместе с ним ту же землю обрабатывают. В этот момент происходит композиционный щелчок. В последней трети этого рассказа люди волшебным образом преобразуются, потому что перед нами, говорит Яшин, — а он открытым текстом всё пишет, это довольно простая очерковая проза, — *были уже не люди, а рычаги*. Как только они начинают проводить партийное собрание, эти люди, которые только что разговаривали абсолютно своим нормальным, бытовым языком, вдруг становятся другими. «Начнём, товарищи! Все в сборе?» — говорит секретарь парторганизации и начинает разговаривать о том, как по всей стране всё шире идёт соцсоревнование. Он говорит абсолютно не своим языком абсолютно чужие слова, и все поддакивают и старательно вживаются в свои роли. Только что они с ним по-товарищески говорили о том, какую махорку лучше курить — такую или корешковую (нормального табаку они давно не видели, а покупная папироса для них вообще предел мечтаний), а вот теперь, словно

накурившись этого самосада, они волшебным образом преобразуются и говорят лозунгами, по газете. Только что они эту газету извели на самокрутки, а сейчас начинают её воспроизводить. На самом деле это очень напоминает финал романа того же Сорокина «Тридцатая любовь Марины», где героиня, придя на завод, начинает говорить цитатами из передовиц. Только что она читала Солженицына, общалась с диссидентами, бегала в посольство «шакалить», как сказали бы сегодня, — в общем, вела нормальную интеллигентскую жизнь. И вдруг она начинает шпарить по-печатному. Точно то же происходит с ними. Это первым придумал Яшин. Когда мы это читаем, с одной стороны, нам смешно, потому что это смешно написано, он весёлый был малый. А потом нам жутко. И когда они расходятся с этого собрания, они начинают осторожно и нехотя опять перекидываться человеческими словами. Это очень сильный финал.

Что касается самого Яшина, то это действительно человек, в котором удивительным образом боролись, с одной стороны, некоторая советская прямолинейность и кондовость, которая в рассказе чувствуется, с другой стороны, всё-таки какая-то необычность, нездешность. О нём есть два типа воспоминаний. Одни говорят: «Увидел Яшина и поразился, какой это простой, красивый, ясный вологодский крестьянин, лицо лопатой, широкое, простое, любит косить, очень склонен поговорить по душам, выпить любит — нормальный вологодский мужик». А другие пишут: «На всей Пинеге никогда не видели такой странной внешности. Орлиный нос, посадка головы гордая, скорее кавказская, тонкие ухоженные усики». И вообще Яшин предстаёт в этих воспоминаниях немного эстетом. Он действительно был совершенно неотразимый красавец. Удивительно, что главная и самая трагическая история любви произошла с ним уже на излёте жизни, уже после того самого 1955 года. Когда он так выпрямился, так странно переломал себя, начался его роман с Вероникой Тушновой.

Вероника Тушнова, тоже такая восточная красавица, одна из самых очаровательных женщин в российской поэзии, которая

написала, наверно, самые лучшие свои стихи именно о любви к Яшину. Весь цикл «Сто часов счастья» — как издевательски говорила жена Яшина, «сто украденных часов счастья» — всё это на самом деле о нём, о любви к нему. Именно ему посвящены те стихи, которые потом стали и поп-песнями, и бардовскими песнями. Всё это Тушнова. Никто не знал об этой любви, хотя уже позднее Эдуард Асадов написал об этом пронзительную балладу в своем духе, потом стали писать мемуаристы. Яшин и Тушнова очень долго прятались. Ему как следует за сорок, ей под сорок. Они ездили по каким-то лесам, скрывались в избушках лесников, уезжали в командировки, встречались за городом, иногда вместе ехали куда-то в горы, всё время подстраиваясь, чтобы оказаться вместе, вдвоём. Шесть лет тянулась эта история. Для Тушновой закончилась она преждевременной смертью: она оказалась в больнице с онкологией и умерла, сгорела в каких-то три месяца, причём настаивала, чтобы его к ней не пускали. Она хотела, чтобы он её всегда помнил красивой. Это и безумно трогательная, и страшная, и мелодраматичная, и в каком-то смысле даже пошлая история. Но ведь всякая любовь пошла. Они, кстати, ещё и родились в один день, 27 марта, только с разницей в два года. Всё их сводило. Яшин не мог уйти от семьи. Это был второй брак. Он намучился ещё с первым своим разводом, душевная болезнь жены была для него вечным укором. В общем, последние годы его жизни были сплошной каторгой. И пережил он её совсем ненадолго. Когда он в 1968 году ушёл, и тоже от рака, и тоже скоротечно, стремительно, он был ещё человеком совершенно молодым, ещё не истратившим и малой доли своих сил и замечательных способностей. Но все его последние дневники дышат ощущением полной безнадежности, страшного тупика. Последние стихи все — о смерти, о похоронах, больше всего они похожи на завещание, на посмертное распоряжение.

Это ещё одна феноменальная загубленная советская судьба. Загубленная, с одной стороны, дикими проработками, разговорами о том, что он оклеветал народ, предал его и так далее. «Когда же он был искренен? Когда он писал „Алёну Фомину“ или когда

он сейчас пишет „Рычаги“ или „Вологодскую свадьбу“? Где была правда у этого сталинского лауреата?» Тут прорвалась вся зависть, долго копившаяся. С другой стороны, конечно, это ещё и страшное советское лицемерие, фарисейство, которое не дало ему жить с той, кого он любил. **Сколько бы мы ни говорили о том, что такие коллизии, наверно, неизбежны, но всё-таки эта оттепельная двойная мораль, когда вроде бы ещё и можно, а вроде бы и нельзя, оказалась на самом деле более губительной, чем откровенное запретительство. При запретительстве ты, по крайней мере, знаешь, что тебе можно, а что нельзя.**

У Некрасова, которого вся сельская поэзия называла своим учителем (и это, конечно, верно), есть очень точная глава в «Кому на Руси жить хорошо», она называется «Последыш». Там есть помещик, которому не говорят о том, что крепостное право отменено. И вдруг ему надо высечь мужика за какую-то ничтожную провинность, а помещику ведь не говорят, что он уже не имеет права сечь этого мужика. Тогда мужика просят: «Ты пойдёшь, покричи на конюшне, мы тебе стол накроем, водки дадим, закуски. Ты только ори. Пусть он думает, что тебя секут». И он пошёл и честно орал, а через два дня умер, как будто его действительно засекали до смерти. Тут поймана очень важная вещь. **Можно сносить любые репрессии, любой тоталитарный ад, пока он длится. Но вот после «оттепели», когда дали вздохнуть, возвращение к этому аду гораздо страшнее.** И Яшин, который на секунду поверил, что теперь можно, оказался жертвой этой захлопнувшейся заново системы, потому что возврат её перенести уже нельзя. Вероятно, это главный урок его трагической судьбы. Многое он объясняет и в сегодняшнем дне, когда рычагов ещё больше и все всё понимают ещё яснее.